

ТИШИНА ГРОМЧЕ КРИКА



Корончик
Сергей

Сергей Корончик

Тишина громче крика

<https://litres.ru/74467994>

SelfPub; 2026

Аннотация

Двадцать лет назад следователь Макар Волков видел монстра, который убивал с пугающей стерильностью. Дело закрыли после пожара, где убийца якобы погиб. Но когда в городе спустя годы снова находят девушку в той же идеальной позе, Волков понимает: монстр вернулся. Или никогда не уходил.

Чем глубже Волков копает, тем сложнее становится дело.

Что скрывает прокурор, подписавший закрытие дела двадцать лет назад? Почему единственная выжившая жертва молчит в психбольнице? И кто на самом деле скрывается под маской маньяка?

В мире, где система защищает своих, а правда тяжелее любого приговора, Волкову предстоит сделать невозможный выбор. Потому что иногда спасение выглядит как убийство. А тишина кричит громче любой боли.

Психологический триллер о времени, которое нельзя вернуть, и любви, которая требует невозможной жертвы.

Содержание

Глава	4
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Тишина громче крика

Глава

Глава 1. Начало

Телефонный звонок в 02:00 ночи — это не звук. Это физический удар. Он не будит; он вырывает из сна, как крюк из мяса.

Макар Викторович Волков не вздрогнул. Его тело, за двадцать лет службы превратившееся в отлаженный механизм реагирования на чужую боль, уже выполняло программу, пока сознание еще барахталось в липкой паутине кошмаров. Рука нащупала вибрирующий прямоугольник на тумбочке раньше, чем глаза открылись. Экран не горел — только тактильная пульсация. Оперативный. Значит, не ошибка. Не пьяный дежурный. Значит, кровь.

— Волков, — голос был хриплым, но ровным. Голос человека, который уже проснулся для смерти.

На том конце капитан Ерохин говорил быстро, сбивчиво, глотая окончания. Адрес. Подъезд. Квартира. «Девушка. Молодая. Дверь открыта. Соседи вызвали из-за музыки, которая играла три часа подряд». И пауза. Та самая пауза, которую оперативники делают, когда видят то, что невозможно передать по телефону.

— Понял. Ждите. Никаких лишних людей. Ничего не трогайте. Даже свет не включайте, если не нужно.

Он положил телефон. В спальне было абсолютно темно, но Волков видел эту темноту иначе, чем спящие люди. Для него она была холстом, на котором уже проступали контуры будущей схемы осмотра. Он одевался механически: брюки, рубашка (не парадная, та, что не жалко испачкать), кобура под пиджаком. Ботинки со шнурками, которые можно завязать одной рукой в полумраке. Кофе не варил. В два часа ночи кофе — это самообман. Нужна была холодная вода и сигарета, но курить он бросил пять лет назад, поэтому просто глубоко вдохнул прохладный воздух форточки. Запах ночного города: мокрый асфальт, выхлоп, дальняя гарь. Запах работы.

Поездка заняла двенадцать минут. Мигалка молчала — незачем тревожить квартал раньше времени. Волков вел машину по памяти, глядя сквозь лобовое стекло, но видя не улицу, а внутреннюю карту. Улица Ленина, дом 47. Сталинка. Высокие потолки. Толстые стены. Плохая слышимость между квартирами, но отличная внутри подъезда. Если музыка играла три часа и никто не пришел стучать до звонка в полицию — значит, соседи боялись. Или знали, кто там живет. Или думали, что это нормально.

Подъезд встретил его запахом. Не крови. Кровь имеет сладковато-металлический оттенок, который чувствуется позже. Сначала всегда приходит запах нарушения. Смесь

дешевого женского парфюма, перегара, старой пыли и того неуловимого феромона страха, который выделяют люди, стоявшие рядом с мертвым телом и пытающиеся убедить себя, что они живы.

Ерохин стоял у двери квартиры №38. Бледный, несмотря на желтый свет единственной работающей лампы на лестничной площадке. Рядом переминался участковый, молодой, с глазами, в которых уже поселилась тень. Оба молчали. Молчание оперативников на месте преступления — это не отсутствие слов. Это уважение к границе, за которой начинается территория смерти.

Волков кивнул им, не здороваясь. Натянул бахилы, перчатки. Достал фонарик. Вошел.

Прихожая была узкой, заставленной обувью. Женской. Много обуви. Туфли, кеды, сапоги — все аккуратно расставлено, носками к стене. На крючке висела сумочка. Ключи лежали на полке. Она вернулась домой сама. Она чувствовала себя в безопасности. Или хотела, чтобы так казалось.

Из комнаты доносился звук. Не музыка. Музыку выключили, когда приехала полиция. Осталось гудение. Тихий, монотонный гул холодильника на кухне и едва слышное тиканье часов. И тишина. Та особенная, ватная тишина, которая бывает только там, где только что оборвалась жизнь. Тишина, которая давит на барабанные перепонки сильнее любого шума.

Он прошел по коридору. Пол был чистым. Никаких сле-

дов борьбы, грязи, чужих подошв.

Комната.

Свет он включать не стал. Фонарик выхватывал из темноты фрагменты, как луч прожектора на сцене театра абсурда. Книжный шкаф. Стол с ноутбуком (закрыт). Кровать, заправленная идеально, без единой складки.

И вот она.

Лежала на полу, у окна. Поза была... неправильной. Неестественной. Не поза уснувшего человека и не поза упавшего в агонии. Поза положенного. Как куклу, которую бережно опустили на ковер. Руки сложены на животе. Ноги выпрямлены. Голова чуть повернута к окну, словно она смотрела на городские огни перед тем, как закрыть глаза навсегда.

Волков присел на корточки. Фонарик скользнул по лицу.

Молодая. Двадцать три, может быть, двадцать пять. Красивая той спокойной, неброской красотой, которая не требует подтверждения. Волосы убраны назад. Ни следа макияжа. На ней была простая хлопковая футболка и домашние штаны. Чистые. Опрятные.

На шее — тонкая полоска. Не синяк. Не ссадина. Идеально ровное, бледное вдавление.

Но не это заставило его сердце остановиться.

Ее лицо.

Оно было спокойным. Не умиротворенным — умиротворение бывает у стариков или у тех, кто ждал конца. Ее лицо

было пустым. Лицо человека, который ничего не чувствовал в момент смерти. Ни страха. Ни боли. Ни удивления. Абсолютное, стерильное отсутствие эмоции.

И тут его накрыло.

Не мысль. Не логическая цепочка. Узнавание.

Ощущение было таким же четким и холодным, как рукопожатие старого знакомого в морге. Он знал. Не подозревал. Не предполагал. Знал.

В его голове, как вспышка молнии в абсолютной темноте, возник образ. Не лицо. Не имя. Жест. Способ держать предмет. Наклон головы при разговоре. Особая, почти хирургическая точность движений. Человек, который никогда не повышал голос. Человек, для которого порядок был не привычкой, а религией.

Лена.

Мысль была настолько ясной, что ему показалось, будто он произнес ее вслух. Но губы остались сомкнутыми. Горло не дрогнуло. Дыхание не сбилось.

Это было лицо Елены. Не той женщины, которая ушла двадцать лет назад с чемоданом и тишиной вместо прощания. А той девушки. Той самой. Живой. Настоящей. Неукротимой. Та, что стояла на крыше заброшенной фабрики с проектором в руках и смеялась ветру в лицо. Та, что пахла краской, свободой и чем-то неуловимо тёплым. Та, чей смех был низким и заразительным, эхом разносившимся по пустым цехам.

Он смотрел на мёртвое лицо и видел её. Видел ту самую искру в чайных глазах, даже сейчас, когда они были закрыты навсегда. Видел тот самый изгиб брови, ту самую линию подбородка, ту самую привычку чуть склонять голову набок, когда она задумывалась.

Это была Елена, только на 20 лет моложе.

Десять лет он носил в себе её образ. Десять лет просыпался с ощущением, что рядом должно быть теплое, живое, сумасбродное существо, которое учило его жить, а не существовать. Десять лет он помнил её записку из трёх слов: «Ты выбрал». И теперь она лежала перед ним. Холодная. Неподвижная. С лицом, на котором не осталось ни следа того электричества, которое она генерировала просто своим присутствием.

Волков медленно поднялся. Колени хрустнули. Он перевел луч фонарика на окно. Стекло было чистым. Рама закрыта. На подоконнике — ни пылинки.

— Макар Викторович? — голос Ерохина прозвучал из коридора, тихий, осторожный.

Волков обернулся. Луч фонарика упал на лицо капитана, осветив капли пота на виске.

— Фотограф и эксперт? — спросил Волков. Голос был прежним. Ровным. Хриплым. Голосом следователя, который только что увидел рядовое, хоть и жестокое, убийство. Ни тени того урагана, который бушевал внутри.

— Вызваны. Будут через десять минут.

— Хорошо. Пусть входят аккуратно. Следов на полу минимум, но они есть. Особенно у окна. И... — он сделал паузу, подбирая слова, которые звучали бы как профессиональное наблюдение, а не как крик души, — ...обратите внимание на позу. И на выражение лица. Это важно.

Но сказал лишь:

— Начните протокол. Я пока осмотрю кухню и ванную.

Он вышел из комнаты, оставив девушку в темноте, в которой она теперь пребывала навечно. Проходя мимо зеркала в прихожей, он на долю секунды поймал свое отражение в свете уличного фонаря, пробивавшегося через окно. Лицо было маской. Уставшей, профессиональной, непроницаемой маской.

Только глаза. В глубине зрачков, куда не проникал свет, горело холодное, беспощадное пламя. Не охотника. Не следователя.

Пламя человека, который только что потерял любовь во второй раз. И на этот раз — навсегда.

Волков отвернулся от зеркала. Шагнул в кухню. Открыл холодильник. Достал бутылку воды. Отвинтил крышку. Выпил половину залпом, чувствуя, как холодная жидкость течет по пищеводу, смывая ком, подступивший к горлу.

Он поставил бутылку обратно. Закрыв холодильник. Поправил перчатки. И вернулся в коридор, чтобы встретить экспертов с лицом человека, который только начинает работу.

Работу, которая теперь стала единственным способом не сойти с ума.

Глава 2. Механика утра

Утро в отделе начиналось не с кофе, а со звуков. Волков различал их, как музыкант различает ноты в оркестре: гул серверной, стук клавиш, шепот дежурного по телефону, скрип кресла Ерохина, который уже третий час пытался составить рапорт. И поверх всего этого — тяжелое, влажное дыхание Игоря Семыкина.

Семыкин сидел за столом напротив, развалившись, как тюлень на лежбище. Рубашка натягивалась на животе, пуговицы держались на честном слове и законе Архимеда. На столе перед ним стоял стакан сладкого чая с лимоном и тарелка с пончиками, крошки от которых усеивали клавиатуру. Семыкин был воплощением всего, что Волков презирал в профессии: лень, nepoтизм, имитация бурной деятельности. Но главное — он был безопасным. Безопасным для мира, безопасным для начальства, безопасным для самого себя. И эта безопасность была оскорбительна сейчас, когда в голове Волкова еще звучала та самая тишина из квартиры на Ленина.

— ...дядя Миша говорил, что в главке сейчас переаттестация, — бубнил Семыкин, обращаясь скорее к пончику, чем к собеседнику. — Так что, Макар, не дергайся. Бумаги важнее подвигов.

Волков не ответил. Он смотрел в монитор, но видел не отчет, а идеальную, стерильную позу девушки у окна. Удушье. Без следов борьбы. Знакомый почерк. Слишком знакомый. Двадцать лет назад он гонялся за призраком, который оставлял именно таких кукол. Тогда он был моложе, быстрее, злее. И слепее. Он пропустил удар в спину, потому что смотрел только вперед.

— Макар Викторович?

Голос Марины Сергеевны Орловой выдернул его из воспоминаний. Начальница стояла в дверях своего кабинета. Строгий костюм, волосы собраны в низкий пучок, ни одной лишней детали. Лицо спокойное, профессиональное, но в глазах — тот самый вопрос, который она никогда не задавала вслух. Ты в порядке?

Волков поднялся. Кресло тихо скрипнуло.

— Да, Марина Сергеевна.

— Зайдете?

Ее кабинет пах бумагой и слабым ароматом сандала. На столе — аккуратные стопки папок, семейное фото в скромной рамке (муж, двое детей, улыбки, стабильность). Волков всегда замечал это фото. Оно было напоминанием о том, чего у него не было, и о границе, которую они оба никогда не перейдут. Между ними не было флирта, намеков, случайных касаний. Было нечто более редкое и хрупкое: понимание. Она знала, что он делает по ночам. Он знал, что она несет

днем. И этого было достаточно.

Орлова закрыла дверь. Не села за стол, а прислонилась к подоконнику, скрестив руки. Жест доверия.

— Доклад по ночному выезду я прочитала, — сказала она. Голос ровный, но интонация чуть мягче, чем при посторонних. — Формально всё верно. Но ты написал «предварительная причина смерти — асфиксия». Без уточнений. Почему?

Волков встретил её взгляд. Она чувствует. Всегда чувствовала.

— Потому что уточнения могут направить не туда, — ответил он, подбирая слова. — Экспертиза покажет точно. А пока... мне нужно время, чтобы убедиться, что я вижу то, что вижу, а не то, что хочу увидеть.

Хочу увидеть его лицо. Хочу убедиться, что это не совпадение. Что двадцатилетний кошмар не вернулся в виде двадцатипятилетней девушки с лицом Елены.

Орлова кивнула. Поняла. Не переспросила.

— Семыкин уже успел намекнуть мне про «высокие связи» и необходимость «не раскачивать лодку», — произнесла она с легкой, почти неуловимой усмешкой. — Я отправила его инвентаризировать архивные журналы за 2015 год. Пусть почувствует свою значимость.

Волков позволил себе едва заметную улыбку. Спасибо.

— Марина Сергеевна, — начал он, и голос стал тем самым инструментом, которым он проверял версии. — Дело об удушениях в Промышленном районе, 2004–2006 годы.

Помнишь, как мы тогда работали?

Она не удивилась вопросу. Просто чуть сузила глаза, вспоминая.

— Помню. Ты тогда жил в участке. Три месяца без выходных. Дело закрыли с формулировкой «нераскрыто по объективным причинам». Подозреваемый... исчез.

Исчез. А Елена ушла. Потому что я был женат на этом деле. Потому что каждый вечер возвращался домой с запахом чужой смерти и не мог обнять её, не запачкав.

— А если бы мы тогда не остановились? — спросил он. Не как следователь. Как человек, который пытается собрать разбитую вазу. — Если бы нашли не того?

Орлова посмотрела на него долго. В её взгляде не было жалости. Была тяжесть разделяемого знания.

— Мы сделали всё, что могли, Макар. С теми ресурсами, с теми доказательствами. Оглядываться назад — роскошь, которую мы не можем себе позволить. Особенно сейчас.

Она права. И не права одновременно. Потому что сейчас оглядываться назад — это не роскошь. Это необходимость. Потому что прошлое не умерло. Оно лежит на полу в квартире на Ленина.

— Спасибо, — сказал он. И вышел.

В коридоре столкнулся с Викой-экспертом. Вискочка, как её звали в участке. Молодая, с рыжими волосами и веснушками, в белом халате, который сидел на ней чуть мешковато. В руках — планшет с результатами первичного осмотра.

При виде её у Волкова на мгновение вспыхнуло воспоминание: бар «Мятный трюфель», три месяца назад, случайный разговор у стойки, её смех, потом такси, потом его квартира, утро, неловкое молчание и договорённость: это останется между нами. Никаких отношений. Никаких обязательств. Просто два одиноких человека, которым понадобилось тепло.

С тех пор они виделись каждый день. Общались как коллеги. Она передавала заключения, он подписывал акты. Ни одного лишнего взгляда. Но иногда, когда она клала папку на его стол, их пальцы случайно соприкасались. И в этом касании было больше честности, чем во многих годах его прошлых связей.

— Предварительные по ночной, — сказала она, протягивая планшет. Голос деловой, но в глазах — тень беспокойства. Она тоже видела тело. Она тоже поняла, что это не обычное убийство. — Волокна на шее не идентифицированы. Не хлопок, не шелк, не синтетика. Что-то... специфическое. Кажется что она доверяла убийце!

Она понизила голос, хотя в коридоре никого не было.

— Спасибо, Вика, — сказал он.

Она кивнула. Поняла. Ушла.

Волков вернулся к своему столу. Семыкин отсутствовал — видимо, инвентаризировал журналы. Тишина. Он открыл ящик стола, достал зажигалку. Дешевую, пластиковую, с выцветшей рекламой автосервиса. Нашёл её пять лет назад в

кармане куртки жертвы, дело которой так и не раскрыли. Повертел в пальцах. Холодный пластик. Напоминание о незавершенности.

Телефон завибрировал. Сообщение от Андрея Бурака: «Ну что, сыч? В субботу «Спартак» играет. Спорим на ящик пива, что проиграют? Или ты опять на работе женишься?»

Бурак. Единственный человек, с которым можно было быть просто Макаром. Не следователем Волковым. Не героем участка. Не бывшим возлюбленным Елены. Просто другом, который помнил его до того, как профессия выжгла всё лишнее. Смуглый, худой, с цыганской кровью и добрым сердцем, которое алкоголь превращал в искру для драки. Волков вытаскивал его из участков, больниц и чужих подъездов чаще, чем из бара. Но Бурак всегда был рядом. Когда Елена ушла, именно Бурак молча сидел с ним на кухне до утра, не предлагая водки и советов. Просто был.

Он набрал ответ: «Спорим. Но если проиграешь, с тебя бутылка Джека. И да, я опять женюсь. На работе».

Отправил. Убрал телефон. Посмотрел на часы. 10:47. До обеда ещё далеко. До конца дня — вечность. До момента, когда он сможет уйти в подвал и разобрать старый «Полёт» 1968 года, — бесконечность.

Он открыл новую вкладку в браузере. Не базу данных. Не новости. Поиск по картинкам. Вбил имя: Елена Соколова.

Выдало несколько ссылок. Соцсети. Старые фото. И одно новое. Пост трёхлетней давности. Фотография девушки. Той

самой. С подписью: «Моя гордость. Моя боль. Моё продолжение».

Лицо Елены. Глаза Елены. Улыбка, которую он не видел двадцать лет.

Волков закрыл вкладку. Рука не дрожала. Дыхание было ровным. Лицо — маской.

Но внутри, в той части души, которую он забетонировал годами дисциплины и цинизма, что-то треснуло. Тихо. Незаметно для окружающих. Но необратимо.

Он достал из кармана ещё одну зажигалку. Эту нашёл сегодня ночью. На полу, у окна, в сантиметре от руки девушки. Черная, матовая, без опознавательных знаков. Тяжелая. Дорогая.

Такая же, как у него.

Волков положил зажигалку в ящик стола. Закрыл. Запер на ключ.

И вернулся к работе. К бумагам. К рутине. К безопасности, которая была необходима, чтобы выжить до вечера.

До вечера, когда он сможет наконец остаться один с тишиной и механизмами, которые, в отличие от людей, никогда не врут.

Глава 3. Эхо смеха в пустой комнате

Бумаги на столе превратились в белый шум. Строки протоколов, цифры, фамилии свидетелей — всё расплывалось перед глазами, уступая место другому тексту. Тексту памяти, который был написан не чернилами, а светом, запахом и

звуком.

Волков отложил ручку. Откинулся на спинку кресла. Кабинет вокруг него перестал существовать. Исчез гул серверной, исчезло влажное дыхание Семыкина из соседней комнаты. Осталась только она.

Елена.

Не та женщина, которая ушла двадцать лет назад с чемоданом и тишиной вместо прощания. А та девушка. Та самая. Живая. Настоящая. Неукротимая.

Она была не просто красивой. Красота бывает статичной, как фотография в рамке. Елена была событием. Высокая, с копной тёмно-каштановых волос, которые никогда не слушались заколок и всегда жили своей жизнью, обрамляя лицо с крупными, дерзкими чертами. Глаза — цвета крепкого чая с мёдом, с искрой, которая могла быть и тёплой, и обжигающей. У неё была привычка прищуриваться, когда она смеялась или когда что-то задумала, и этот прищур был опаснее любого предупреждения. Тело — гибкое, сильное, созданное для движения, а не для позирования. Она носила джинсы и мужские рубашки чаще платьев, но даже в мешковатой одежде двигалась с грацией дикой кошки.

Но главное было не во внешности. Главное было в том электричестве, которое она генерировала. Рядом с ней воздух становился плотнее, насыщеннее. Она была воплощением риска, возведённого в степень искусства. Не глупого, подросткового бунта, а осознанного, почти философского вызо-

ва серости и предсказуемости.

Их встреча была именно такой. Вызовом.

Это случилось за два года до того, как город накрыла тень. Волков был молодым лейтенантом, амбициозным, правильным, верящим в устав и одновременно законы улицы. Его вызвали по заявлению о «хулиганстве». Ночью. На крыше заброшенной текстильной фабрики на окраине города.

Когда он поднялся туда, готовый увидеть пьяную компанию или вандалов, он увидел её.

Она стояла на самом краю парапета, спиной к пропасти, лицом к городу. В руках держала огромный, самодельный проектор, направленный на стену соседнего жилого дома. И на этой стене, на высоте девятого этажа, пульсировало гигантское, яркое, совершенно неприличное изображение: анимационный кот, показывающий средний палец, с подписью «ДОБРОЕ УТРО, ГОРОД!».

Ниже, на асфальте, уже собралась толпа. Кто-то ругался, кто-то хохотал. Милиция (ещё милиция, не полиция) внизу нервничала, но лезть на крышу боялась.

Волков подошёл. Не крикнул «Стой! Руки вверх!». Просто остановился в трёх метрах от неё и сказал тихо, но так, чтобы она слышала сквозь гул ветра:

— Кот получился. Но перспектива хромает. Левая лапа выглядит короче.

Она обернулась. Не испуганно. Не виновато. С интересом. Прищурилась теми самыми чайными глазами.

— Ты кто? Искусствовед или мент?

— Лейтенант Волков. И я говорю о композиции, а не о статье 213. Хотя статья тоже возможна.

Она улыбнулась. Улыбка была широкой, искренней и абсолютно обезоруживающей.

— Я Лена. И это не хулиганство. Это социальная терапия. Город слишком серьёзен. Ему нужен кот.

— Городу нужен сон. Сейчас три часа ночи.

— Городу нужно проснуться! — она шагнула от края, легко, как будто гравитация была для неё необязательной. Подошла ближе. Пахла ветром, краской и чем-то неуловимо тёплым. — А ты, лейтенант, почему не арестовываешь?

— Потому что кот действительно хорош, — честно ответил он. — И потому что если я тебя сейчас скручу, ты ударишься головой о парапет. А мне не хочется портить произведение искусства синяками.

Она рассмеялась. Смех был низким, заразительным, эхом разнёсся по крыше. В тот момент Волков понял, что его упорядоченная жизнь только что дала трещину. И ему это понравилось.

Протокол он составил. Формальный. «Нарушение общественного порядка, предупреждение». Проектор конфисковал. Но вечером следующего дня привёз его обратно. С запиской: «Перспективу исправил. Кот теперь идеален. Ужин?»

Так они начали встречаться. Не как следователь и нару-

шительница. Как два человека, нашедших друг друга в точке пересечения порядка и хаоса.

Их отношения были фейерверком. Она тянула его в свои безумные приключения, а он был тем якорем, который не давал ей улететь в стратосферу. Они катались на угнанном (ею!) велосипеде, чтобы посмотреть на рассвет над путями. Она затащила его на нелегальную вечеринку в подземном коллекторе, где играла живая музыка и пахло сыростью и свободой. Однажды зимой она решила искупаться в проруби на Крещение, хотя ни разу не окуналась, и Волков, матерясь, стоял рядом с полотенцем и виски, готовый вытаскивать её, если течение подхватит. Она вынырнула, сияющая, с криком «Жизнь прекрасна!», и он, глядя на её мокрое, счастливое лицо, впервые подумал: Я хочу, чтобы это никогда не кончалось.

Она была сумасбродной. Могла посреди ночи решить, что им срочно нужно увидеть море, и через час они уже мчались по трассе на его старенькой «Волге», с открытыми окнами и музыкой на полную громкость. Могла потратить всю зарплату на винтажный мотоцикл, который не заводился, и неделю чинить его в гараже, перемазавшись маслом и ругаясь так, что соседи краснели. Могла влезть в спор с байкерами в баре и выйти победительницей, потому что умела говорить так, что даже самые суровые мужики начинали улыбаться.

С ней было весело. Не развлекательно-поверхностно, а глубоко, до дрожи в коленях, весело. Она учила его жить,

а не существовать. Показывала, что мир больше, чем протоколы и улики. Что радость — это не награда за правильное поведение, а право по рождению.

А потом появилась тень.

Сначала это было просто дело. Одно из многих. Девушка, найденная в парке. Удушение. Без следов борьбы. Волков принял его как вызов. Профессиональный. Личный.

Но тень росла. Второе убийство. Третье. Почерк был одинаковым. Холодным. Точным. Безжалостным.

И Волков начал меняться.

Он не замечал этого сразу. Думал, что сможет совмещать. Что Елена поймёт. Что она достаточно сильна, чтобы разделить эту тяжесть.

Но тень была ревнивой. Она требовала всего. Каждой мысли. Каждого вздоха. Каждой минуты сна.

Он стал приходить домой поздно. Или не приходить вообще. Когда приходил — был телом без души. Глаза смотрели сквозь неё, видя не её улыбку, а схемы мест преступлений. Руки, которые должны были обнимать, машинально перебирали в воздухе невидимые улики. Разговоры превратились в односложные ответы. Её смех, который раньше был для него кислородом, стал раздражающим шумом, отвлекающим от главного.

Она пыталась. Боже, как она пыталась.

Помнила тот вечер, когда она приготовила ужин, купила вино, надела то самое платье, которое ему нравилось. Он

пришёл в полночь, сел за стол, посмотрел на еду, на неё, и сказал: «Лен, прости. Мне нужно вернуться. Новая зацепка». И ушёл. Даже не притронувшись к бокалу.

Помнила, как однажды ночью она проснулась от того, что он сидел на кухне в темноте, уставившись в стену. Она подошла, обняла со спины, прижалась щекой к его плечу. Он не шелохнулся. Не накрыл её руку своей. Просто сидел, каменный, далёкий, недоступный. И она поняла, что обнимает не мужчину, которого любит, а должность. Одну большую, нераскрытую рану.

Веселье умерло. Риск стал не приключением, а источником боли. Каждая её попытка вытащить его из этой трясины воспринималась как помеха. Как предательство дела.

Она не устраивала скандалов. Не била посуду. Не плакала навзрыд. Она была слишком гордой для этого. Она просто... угасала. Свет в чайных глазах тускнел. Смех становился реже. Безумные идеи исчезали, заменяясь тихой, невыносимой грустью.

И он видел это. Видел, как теряет её. Но не мог остановиться. Тень была сильнее. Долг был сильнее. Любовь к ней стала слабее любви к разгадке. Или, точнее, страх перед неразгаданным стал сильнее желания быть счастливым.

Расставание было тихим. Как падение лепестка.

Она собрала вещи, пока он был на работе. Оставила ключи на тумбочке. И записку. Не длинную. Не обвиняющую. Всего три слова:

«Ты выбрал».

Не «ты меня бросил». Не «ты изменил». Не «ты стал другим».

«Ты выбрал».

Это было страшнее любых криков. Потому что это была правда. Чистая, незамутнённая, абсолютная правда. Он выбрал тень. Выбрал мертвых. Выбрал бесконечную погоню за призраком, вместо живой, тёплой женщины, которая любила его таким, каким он был до.

Он вернулся в пустую квартиру. Прочитал записку. Сел на кровать, где ещё сохранялся запах её духов. И ничего не почувствовал. Ни боли. Ни сожаления. Только глухое, свинцовое облегчение. Облегчение от того, что больше не нужно разрываться. Что можно полностью отдаться тени.

И только потом, спустя месяцы, годы, когда тень так и не была поймана, когда квартира окончательно остыла, когда смех Елены стал лишь эхом в памяти, — он понял цену этого облегчения.

Понял, что выбрал не справедливость. Выбрал одиночество. Выбрал пустоту. Выбрал смерть жизни ради погони за смертью.

...Волков открыл глаза.

Кабинет вернулся. Бумаги. Гул. Дыхание Семыкина.

На столе лежала чёрная матовая зажигалка. Та, что он нашёл сегодня ночью у окна. У руки девушки с лицом Елены.

Он протянул руку. Коснулся холодного металла. Пальцы

сомкнулись.

Ты выбрал, эхом пронеслось в голове. Голосом Елены. Голосом той девушки на крыше. Голосом , как он предполагал дочери, которую он никогда не знал, но которая носила лицо женщины, которую он потерял.

Волков сжал зажигалку так, что костяшки пальцев побелели.

Двадцать лет назад он выбрал тень.

Он не мог изменить прошлое. Не мог вернуть Елену. Не мог воскресить девушку на полу.

Но он мог сделать одно.

Мог наконец-то выбрать правильно.

Не тень. Не долг. Не погоню.

А правду. Ту самую, личную, болезненную правду, которую он прятал даже от себя.

Волков положил зажигалку в карман. Поднялся. Подошёл к окну кабинета. Посмотрел на город, который когда-то освещался дерзким котом на стене.

Город был прежним. Серым. Серьёзным.

Но в груди у следователя Волкова, впервые за двадцать лет, зажглась искра. Не электричества. Не риска. Не веселья.

Искра искупления.

Она была маленькой. Хрупкой. Опасной.

Но она была живой.

Глава 4. Двадцать лет тишины

Утро в отделе тянулось, как густой, вязкий сироп. Волков

сидел за своим столом, и перед ним лежал не протокол, а распечатка из базы данных, которую Вика-эксперт принесла ему десять минут назад. Молча. С глазами, в которых плескалось сочувствие, смешанное с профессиональной отстранённостью.

На листе было фото. То самое, из соцсетей. И рядом — сухая строчка: «Соколова Анна Игоревна, 20 лет. Мать: Соколова Елена Викторовна».

Двадцать лет.

Цифра ударила под дых, точнее любого ножа. Двадцать лет назад он стоял на пороге пустой квартиры с запиской «Ты выбрал». И вроде хорошо, что кто смог дать ей то, чего не смог он: присутствие. Тепло. Жизнь вместо погони за смертью.

И эта девочка. Анна. Дочь Елены. Дочь человека, которого он предал ради работы, сейчас убита.

Круг замкнулся. Не через двадцать лет. Через вечность боли, спрессованную в одну секунду осознания.

— Ну что, Волков? Опять в ступоре?

Голос Семыкина прозвучал как скрежет металла по стеклу. Толстый коллега подкатил к его столу, держа в руке чашку чая, от которой шёл пар. На лице — самодовольная ухмылка человека, который считает себя умнее всех, потому что у него есть дядя.

— Я тут посмотрел предварительные данные, — продолжил Семыкин, нарочно повышая голос, чтобы привлечь вни-

мание кабинета. — Обычное бытовое. Девочка студентка, видимо, гуляла, пришла поздно, кто-то из знакомых перестарался. Не надо тут строить конспирологию, Макар. Маньяки — это для сериалов. А у нас, — он сделал паузу, оглядываясь, — реальная работа. Мой дядя в главке всегда говорит: не усложняйте простое. Статистику портите.

В кабинете повисла тишина. Ерохин опустил глаза. Дежурный замер. Все знали, что Семыкин несёт чушь. Но все также знали, что спорить с ним — значит напрашиваться на проблемы.

Волков медленно поднял голову. Посмотрел на Семыкина. Не с гневом. Не с раздражением. С абсолютным, ледяным спокойствием хирурга, который видит гнойник.

— Игорь Валентинович, — произнёс он тихо, но так, что каждое слово долетело до каждого угла кабинета. — Вы только что назвали удушение без следов борьбы, с позой тела, исключаящей падение, и с отсутствием любых оборонительных повреждений «бытовым». Скажите, вы когда-нибудь видели бытовое убийство, где жертва уложена после смерти? Где нет ни одного синяка на запястьях? Где музыка играла три часа для создания алиби, а не потому, что жертва её слушала?

Семыкин открыл рот. Закрыл. Чай в чашке дрогнул.

— И ещё, — продолжил Волков, не повышая голоса. — Ваш дядя в главке, при всём уважении к его званию, не стоял над этим телом. Не видел выражения лица, которое бывает

только у тех, кто знал убийцу и доверял ему. Так что статистику мы портить не будем. Мы просто сделаем свою работу. Ту, за которую нам платят. А не ту, которую удобно вписать в отчёт.

Он перевёл взгляд на дверь кабинета начальницы. Орлова стояла там. Слушала. Её лицо было непроницаемым, но в глазах мелькнуло нечто, похожее на одобрение. Не громкое. Тихое. Профессиональное. Человеческое.

— Продолжайте инвентаризацию, Игорь Валентинович, — сказала она ровным голосом. — Журналы за 2015 год сами себя не проверяют.

Семыкин побагровел. Поставил чашку на стол так, что чай выплеснулся. Развернулся и ушёл, тяжело топая.

Волков снова посмотрел на распечатку. Соколова Елена Викторовна.

Адрес был в базе. Улица Гагарина, дом 12. Квартира 45. Старый фонд. Тихий двор. Окна во двор.

Он знал, куда ехать. Знал, зачем. И знал, что это будет самым трудным разговором в его жизни.

Подъезд дома на Гагарина пах детством. Старой краской, кошачьим кормом и теплом. Не тем стерильным теплом новостроек, а живым, человеческим, накопленным десятилетиями.

Волков стоял перед дверью квартиры 45. Рука, которая обычно не дрожала даже под дулом пистолета, сейчас чувствовала тяжесть собственного веса. Он не звонил. Не пре-

дупреждал. Просто пришёл. Потому что такие вещи нельзя говорить по телефону. Такие вещи можно только принести. Как крест. Как покаяние.

Дверь открылась почти сразу.

Елена.

Двадцать лет — это не срок для таких женщин, как она. Время не стерло её, а ограничило, как драгоценный камень. Те же чайные глаза, но теперь в них была глубина, которой не было в юности. Те же тёмные волосы, но теперь они были убраны в элегантный узел. Та же стать, но движения стали мягче, осознаннее. Она была красивой не дерзкой красотой девушки с крыши, а тихой, мудрой красотой женщины, которая прожила жизнь, любила, теряла и всё равно осталась собой.

Она увидела его. И в её глазах не было удивления. Не было страха. Не было ненависти.

Было Воспоминание .

Как будто она ждала этого визита двадцать лет. Как будто знала, что рано или поздно он постучит в эту дверь.

— Макар, — сказала она. Голос был низким, тёплым. Тем самым голосом, который когда-то смеялся на крыше, шептал в темноте, кричал от счастья на морозе.

— Лена, — ответил он. И имя прозвучало как молитва. Как признание вины. Как просьба о прощении, на которую он не имел права.

Она шагнула назад, пропуская его. Прихожая была уют-

ной, живой. На стенах — фотографии. Семейные. Дочка в выпускном платье. Дочка на море. Дочка с дипломом. Анна. — произнесла Лена, увидев, как Волков рассматривал фото. Лицо Елены. Улыбка, которую он не видел двадцать лет.

Из комнаты навстречу вышел мужчина. Высокий, седовласый, с добрым, открытым лицом. В руках — газета. Он остановился, увидев Волкова, и в его глазах не было ревности или подозрения. Только спокойное, мужское понимание.

— Лена? — спросил он тихо.

— Это Макар, Сергей, — сказала Елена. И в её голосе не было ни тени смущения. Только правда. — Тот самый.

Сергей кивнул. Подошёл к Волкову. Протянул руку. Рукопожатие было крепким, тёплым. Без вызова. Без оценки. Просто признание: Я знаю, кто ты. Я знаю, что ты значил для неё. И я благодарен тебе за то, что ты ушёл, когда ушёл.

— Проходите, — сказал Сергей. — Чай стынет.

Они прошли в комнату. Светлую, с книжными полками и цветами на подоконнике. На столе — три чашки чая. Пар ещё поднимался. Они ждали.

Сергей поставил газету на тумбочку. Посмотрел на Елену. На Волкова. Понял, что его присутствие здесь — не нужно. Что этот разговор — не для троих.

— Я пойду, — сказал он тихо. — Матч досмотрю.

И ушёл в соседнюю комнату. Закрыв дверь. Не хлопнул. Просто закрыл. Оставив их вдвоём с прошлым, которое никогда не становилось настоящим.

Они сели. Молчание между ними не было неловким. Оно было наполненным двадцатью годами непрожитой жизни. Невысказанных слов. Неуслышанного смеха.

— Она похожа на тебя, — сказал он наконец. Голос был хриплым. — Анна.

Елена улыбнулась. Улыбка была грустной, но светлой.

— Внешностью — на меня. Характером ... — она посмотрела на него прямо, — ...на тебя. Даже привычка хмуриться, когда думает.

Сердце Волкова пропустило удар. Дочь Елены. И моя тень в ней.

— Расскажи мне о ней, — попросил он. Не как следователь. Как человек, который потерял право знать, но всё равно просит. — Какая она была?

И Елена рассказала.

Не о биографии. Не об успехах. О ней.

О том, как Анна в пять лет спасала жуков с асфальта и хоронила их в спичечных коробках. Как в двенадцать написала рассказ о говорящем дереве и плакала, когда учительница поставила тройку за «нереалистичность». Как в шестнадцать уехала одна в Карелию, потому что «хотела услышать, как молчат камни». Как любила старые фильмы, чёрный кофе и дождь. Как смеялась — запрокидывая голову, совсем как мать. Как была доброй. Смелой. Настоящей.

Каждое слово было подарком. И каждым словом Елена, сама того не зная, строила мост между ним и дочерью, кото-

рую он никогда не узнает. Мост, который скоро рухнет.

Волков слушал. Запоминал. Впитывал. Каждую интонацию. Каждую деталь. Каждую улыбку в голосе Елены. Он знал, что это последние минуты, когда он может слышать о Анне как о живой. Что через несколько мгновений эти слова превратятся в эпитафию.

И вдруг, сквозь боль, сквозь горе в его голове вспыхнула мысль. Важная. Не личная. Профессиональная.

Он хотел спросить, формулировка уже сложилась.

Но он не успел.

Потому что Елена замолчала. Посмотрела на него. В её глазах появилась интонация. Та самая интонация, которую он видел двадцать лет назад, когда она поняла, что теряет его. Только теперь она потеряла еще более дорогого для себя человека.

— Макар, — сказала она тихо. — Зачем ты здесь?

Не «что случилось». Не «почему ты пришёл». Зачем.

Потому что она знала. Знала, что он не приходит просто так. Что этот визит — не воспоминание. Это сообщение.

Волков посмотрел в её чайные глаза. Увидел в них всю любовь, всю боль, всю силу женщины, которая вырастила дочь, пока он гонялся за призраками. Увидел доверие, которое он не заслужил, но которое она всё равно ему давала.

И понял, что больше не может молчать. Что вопрос, который он сформулировал может подождать. Что правда важнее улики.

Он встал. Подошёл к двери соседней комнаты. Постучал. Тихо. Один раз.

— Сергей. Выйдите, пожалуйста.

Дверь открылась сразу. Сергей вышел. В его глазах не было вопроса. Только готовность принять то, что принесут.

Волков вернулся к столу. Встал перед Еленой. Перед Сергеем. Перед двумя людьми, которым он сейчас разрушит мир.

— Анна мертва, — сказал он. Голос был ровным. Профессиональным. Единственным голосом, который мог удержать его от распада. — Сегодня ночью. Удушение. Поза тела указывает на то, что убийца был ей знаком. И доверяла ему.

Тишина.

А потом — крик. Не громкий. Не истеричный. Тихий, разрывающий душу звук, который издаёт тело, когда из него вырывают сердце. Елена упала на стул. Руки схватились за край стола. Костяшки пальцев побелели. Слезы хлынули не потоком — лавиной.

Сергей бросился к ней. Обнял. Прижал к себе. Его лицо исказилось болью, но он держался. Держал её.

А Елена... Елена смотрела на Волкова. Сквозь слёзы. Сквозь боль. Сквозь двадцать лет.

И в этом взгляде не было прощения. Не было понимания. Была только вина. Его вина.

— Ты... — выдохнула она. Голос рвался. Слова падали, как камни. — Ты опять... Ты всегда... Приносишь только

боль... Тогда... И сейчас...

Каждое слово было ударом. Справедливым. Незаслуженным. Необходимым.

Волков стоял. Принимал. Не оправдывался. Не объяснял. Не говорил «прости». Потому что прощения не было. И не должно было быть.

Он повернулся. Пошёл к двери. Открыл её.

И уже на пороге, не оборачиваясь, услышал её последний шёпот. Тихий. Разбитый. Но чёткий.

— ...как тогда...

Дверь закрылась.

Волков спустился по лестнице. Каждый шаг отдавался в груди набатом. Вышел во двор. Сел в машину.

Не завёл двигатель. Просто сидел. Смотрел на окна квартиры 45. На свет в окне, где Елена теперь осталась одна с болью, которую он принёс. Снова.

Он не задал ей вопрос по делу. Не узнал то, что могло помочь делу. Потому что в тот момент правда была важнее улики. Человек — важнее расследования.

И это было правильно.

Даже если это стоило ему последнего шанса на прощение.

Даже если это означало, что дело станет сложнее.

Даже если это значило, что он снова выбрал. Но на этот раз — не долг. Не погоню.

А правду.

Волков завёл машину. Поехал домой. Не в бар. Не к ко-

му-то. Домой. В тишину. В пустоту. В место, где можно наконец-то почувствовать.

Не вину. Не боль. Не долг.

А просто... горе.

Чистое. Настоящее. Живое.

То, которое он не позволял себе двадцать лет.

То, которое было единственным способом начать искупление.

Машина ехала по ночному городу. Городу, который когда-то освещался дерзким котом. Городу, который теперь хранил тайну смерти девушки с лицом матери.

Волков не включил радио. Не думал о деле. Не строил версий.

Он просто ехал. И впервые за двадцать лет позволил себе не быть сильным.

Потому что завтра ему снова придётся быть.

А сегодня... сегодня он был просто человеком, который принёс боль женщине, которую любил.

И это было самым честным, что он сделал за всю свою жизнь.

Глава 5. Право на хаос

Квартира встретила его тишиной. Не той, уютной, что бывает в домах, где живут люди. А стерильной, музейной тишиной одиночества. Волков бросил ключи на тумбочку, не глядя, прошёл в спальню, лёг поверх покрывала, даже не сняв ботинки. Закрыв глаза.

Но сна не было. Была только пульсация в висках и эхо голоса Елены: «Ты опять... Приносишь только боль... Как тогда...».

Он лежал так час. Может быть, два. Время потеряло смысл. Тело требовало отдыха, но разум был раскалённой проволокой. Каждая мысль обжигала. Лицо Сергея, держащего жену. Чёрная зажигалка в кармане. И главное — ощущение, что он снова стоит на краю той самой крыши, только теперь под ногами не бетон, а бездна.

В 00:12 он сдался. Достал телефон. Набрал один номер.

— Сыч? — голос Бурака был сонным, но мгновенно проснувшимся. Он никогда не спрашивал «что случилось». Он просто был готов.

— «Мятный трюфель». Через двадцать минут.

— Буду.

Бурак не спросил зачем. Не предложил подождать до утра. Просто сказал «буду». В этом слове была вся их дружба. Сорок лет доверия, которое не требовало объяснений.

Бар «Мятный трюфель» в час ночи — это особое место. Сюда не приходят тусоваться. Сюда приходят те, кому некуда идти, или те, кому нужно быть среди людей, но не участвовать в жизни. Полумрак. Тихая музыка. Запах старого дерева, виски и усталости.

Бурак уже сидел за угловым столиком. Перед ним — стакан воды. Худой, смуглый, с цыганской кровью в жилах

и добротой в глазах, которая могла превратиться в ярость быстрее, чем гаснет спичка. Он улыбнулся, увидев Волкова. Улыбка была тёплой, настоящей.

— Ну рассказывай, — сказал он вместо приветствия. — Или сначала футбол?

Волков сел. Бармен, не спрашивая, поставил перед ним двойной эспрессо. Волков кивнул ему. Они знали друг друга десять лет. Бармен знал, когда Волкову нужен кофе, когда — виски, а когда — просто тишина.

— Футбол, — согласился Волков. Потому что знал: Бураку нужно выговориться, прежде чем слушать.

И Бурак начал. Про «Спартак». Про несправедливого судью, который «опять засудил наших». Про то, что защита дырявая, но нападение — лучшее в лиге. Про то, что если бы не этот пенальти на 89-й минуте, они бы точно выиграли. Говорил быстро, эмоционально, размахивая руками. В его голосе была жизнь. Настоящая, простая, незамутнённая болью.

Волков слушал. Кивал. Задавал вопросы. Делал вид, что ему важно. И ему было важно. Не футбол. Важно, что Бурак жив. Что он может говорить о ерунде. Что мир ещё существует вне протоколов и мёртвых тел.

Но через десять минут он прервал его.

— Макар, — сказал тихо. — Это он.

Бурак замолчал. Посмотрел на него. В глазах исчезла футбольная азартность. Появилась та самая глубина, которая де-

лала его лучшим другом, а не просто собутыльником.

— Кто?

— Тот самый. Двадцать лет назад. Почерк. Поза. Детали, которые не попадают в протокол. Я знаю, Макар. Чуйка. Та самая, которая ни разу не подводила.

Бурак откинулся на спинку стула. Помолчал. Потом покачал головой.

— Сыч, ты себя накручиваешь. Двадцать лет прошло. Люди меняются. Маньяки либо ловятся, либо умирают, либо перестают убивать. Это совпадение. Ты устал. Тебе нужно отдохнуть, а не гоняться за призраками.

— Это не призрак, — ответил Волков. — Это реальность. И она смотрит мне в глаза.

Бурак посмотрел на него долго. Видел, что спорить бесполезно. Что Волков уже там, в той тьме, откуда его не вытащить словами.

— Ладно, — вздохнул он. — Давай выпьем. По пиву. Мне можно. Тебе тем более.

И в этот момент Волков почувствовал нечто странное.

Обычно он говорил «нет». Обычно он следил, чтобы Бурак не напился. Потому что знал: алкоголь для Андрея Бурака — это искра. Искра, которая превращает доброго, худого парня в цыганскую ярость. Драки, участки, синяки, звонки жене в слезах. Волков всегда был тормозом. Всегда останавливал. Всегда вытаскивал.

Но сейчас... сейчас что-то внутри него хотело этого хао-

са. Хотело, чтобы Бурак выпил. Чтобы сорвался. Чтобы они подрались. Не с кем-то конкретным. Просто с миром. С этой невыносимой, стерильной болью, которая жгла изнутри.

Он хотел почувствовать удар. Настоящий. Физический. Который заглушит тот, внутренний. Который даст право на слабость. На ошибку. На то, чтобы быть не следователем Волковым, а просто человеком, которому больно.

— Давай, — сказал он. И в его голосе была надежда. Та самая, которую Бурак слышал.

Бурак удивлённо поднял брови. Но не стал спрашивать. Просто кивнул бармену.

— Два больших. Тёмного.

Пиво принесли. Холодное. Тяжёлое. Волков сделал глоток. Горечь обожгла горло. И вместе с ней пришло облегчение. Облегчение от того, что он позволил. Что не контролирует. Что отпускает поводья.

Бурак пил быстрее. Глаза начинали блестеть. Улыбка становилась шире, резче. Цыганская кровь просыпалась.

— Знаешь, Сыч, — сказал он, ставя пустой стакан. — А ведь ты прав. Судья сегодня был козлом. И жизнь — тоже козёл.

За соседним столиком сидела компания. Четверо парней. Громкие. Пьяные. Один из них, бритый, с татуировкой на шее, обернулся.

— Чё сказал, чурка?

Бурак замер. Улыбка не исчезла. Она стала опасной.

Волков видел этот момент тысячу раз. Раньше он бы встал. Положил руку на плечо Бурака. Сказал бы «не надо». Увёл бы друга. Разрядил обстановку.

Сейчас он остался сидеть. Смотрел. Ждал.

Бурак медленно повернул голову. Посмотрел на бритого. И сказал тихо, но так, что слышал весь бар:

— Повтори.

Бритый повторил. Громче. С матом.

И Бурак встал. Не резко. Плавно. Как кошка перед прыжком.

Дальше всё произошло быстро. Удар. Хруст. Крик. Стулья полетели. Кто-то из компании бритого бросился на Бурака. Волков встал. Не потому, что должен был защитить. А потому, что хотел участвовать.

Первый удар пришёлся ему в скулу. Боль вспыхнула, яркая, настоящая. И вместе с ней пришло то самое освобождение. Он ответил. Не как полицейский. Не по уставу. Как человек, которому нужно выплеснуть двадцать лет боли.

Драка длилась минуты три. Бармен не вызывал полицию сразу — знал, что Волков контролирует ситуацию, даже в таком состоянии. Но когда один из парней достал нож, бармен набрал 02.

Наряд приехал через семь минут. Волков и Бурак сидели на полу, спиной к стене. Костяшки рук были разбиты. У Волкова рассекали бровь. У Бурака опухала скула. Оба дышали тяжело. Оба улыбались.

Улыбались не радости. Улыбались облегчению.

Их забрали. Без наручников. Дежурный капитан, узнав Волкова, лишь тяжело вздохнул и сказал: «Макар Викторович, ну вы даёте...». Оформили протокол. Посадили в камеру. Не как преступников. Как людей, которым нужно было остановиться где-то.

Камера была тихой. Пахла металлом и дезинфекцией. Бурак сидел на нарах, прислонившись к стене. Молчал. Волков сидел напротив. Тоже молчал.

Боль в теле была хорошей. Честной. Она заглушала ту, другую.

— Спасибо, — сказал Бурак тихо.

Не за драку. За то, что позволил. За то, что не остановил. За то, что был рядом не как надзиратель, а как брат.

Волков кивнул. Не ответил. Слова были не нужны.

Они просидели так до утра. В тишине. В боли. В дружбе, которая не требовала оправданий.

В 08:30 дверь камеры открылась.

На пороге стояла Марина Сергеевна Орлова. Строгий костюм. Пучок. Ни одной лишней детали. Лицо — маска профессионализма. Но в глазах... в глазах было то, что видели только двое: Волков и Бурак.

Она не сказала ни слова. Просто кивнула дежурному. Подписала бумаги. Вышла в коридор.

Бурак шёл за ней, хромая. На прощание обернулся к Волкову. Кивнул. В его взгляде было всё: Я пойду домой. К же-

не. К дочке. Ты справишься.

Волков кивнул в ответ. Иди. Я знаю.

Бурак ушёл.

Орлова осталась. Посмотрела на Волкова. На рассечённую бровь. На разбитые костяшки. На пятно крови на рубашке.

— Кабинет, — сказала она. Тихо. Ровно.

Волков пошёл за ней. Коридор участка казался бесконечным. Коллеги отводили глаза. Никто не шутил. Никто не задавал вопросов. Все понимали: это не просто нарушение. Это крик.

В кабинете Орлова закрыла дверь. Не села за стол. Встала у окна. Спиной к нему.

Молчание длилось минуту. Две. Три.

Потом она обернулась. И маска упала.

В её глазах была не злость. Не разочарование. Не осуждение.

Была боль. Та самая, которую она носила в себе годами. Боль за него. За то, что он делает с собой. За то, что она не может его спасти.

— Макар Викторович, — сказала она. Голос дрогнул. Едва слышно. — Вы хоть понимаете, что вы сделали?

Волков стоял. Смотрел на неё. Не оправдывался. Не объяснял. Просто принимал.

— Понимаю, Марина Сергеевна.

— Нет, — она покачала головой. — Вы не понимаете. Вы

думаете, это был срыв. Вы думаете, это было право на слабость. Но это не слабость. Это самоуничтожение. И я не могу... — голос оборвался. Она вдохнула воздух. Собрала себя обратно. Маска вернулась. Но трещины остались. — Я не могу смотреть, как вы себя убиваете. Ни как начальник. Ни как... человек.

Пауза.

— Вы получите выговор. Официально. Неофициально... — она посмотрела на него прямо, — ...вы получите шанс. Последний. Используйте его. Не для дела. Для себя.

Волков кивнул.

— Спасибо.

— Не благодарите, — сказала она тихо. — Просто... живите. Пожалуйста.

И в этом «пожалуйста» было больше любви, чем во всех признаниях мира. Любви, которая не могла быть высказана. Которая могла быть только показана. Через выговор. Через боль. Через просьбу, которая звучала как приказ.

Волков вышел из кабинета. Прошёл по коридору. Вышел на улицу.

Утро было свежим. Город просыпался. Люди спешили на работу. Жизнь продолжалась.

Он потрогал рассечённую бровь. Боль отозвалась. Хорошая. Настоящая.

Он знал, что завтра будет сложнее. Что дело не стало проще. Что Елена не простит. Что убийца не пойман.

Но также он знал, что сегодня он выжил. Что позволил себе быть человеком. Что есть друг, который не судит. И женщина, которая любит настолько, что готова причинить боль, чтобы спасти.

Волков пошёл домой. Не спать. Не пить. Не к женщине. Домой. В мастерскую. К часам.

Потому что сейчас ему нужно было не забыть. Не заглушить. Не убежать.

Сейчас ему нужно было починить.

Хотя бы что-то.

Хотя бы один механизм.

Чтобы верить, что починить можно и его.

Глава 6. Механика времени

Подвал пах машинным маслом, латунью и пылью, которая не оседала десятилетиями. Здесь, в полумраке, освещённом только направленной лампой-лупой, время подчинялось другим законам. Не тем, что тикали на стенах участка, отмеряя сроки давности и часы допросов. Здесь время можно было разобрать на части, промыть в бензине, смазать и заставить идти заново.

Волков сидел за верстаком. Рассечённая бровь стянулась коркой, костяшки правой руки ныли тупой, но приятной болью — напоминанием о том, что он всё ещё состоит из плоти, а не только из протоколов. Перед ним, на бархатной салфетке, лежал разобранный «Полёт» 1968 года. Хронограф. Сложный механизм, который кто-то до него пытался почи-

нить сломал спираль баланса.

Он взял пинцет. Пальцы, которые ночью разбивали чужие скулы, сейчас двигались с ювелирной, почти женственной точностью. Это был его парадокс, его тайная суперсила: умение переключаться между хаосом и абсолютным порядком. Люди думают, что следователь — это всегда напряжение, стиснутые зубы и взгляд исподлобья. Они не знают, что лучший способ поймать убийцу — уметь собирать шестерёнки толщиной с волос.

Волков поднес лупу к глазу. Балансовое колесо. Сердце часов. Если оно бьётся неровно, весь механизм врёт. Он аккуратно снял его, опустил в ультразвуковую ванну с раствором. Жидкость зашипела, выбивая микроскопическую грязь из зубьев.

Он потянулся за маслёнкой, когда телефон на верстаке завибрировал, едва не упав в банку с растворителем. Экран осветил полумрак.

Ирина.

Волков посмотрел на время. 14:12. Сообщение было длинным, что для неё редкость. Обычно она общалась телеграммами, как диспетчер.

«Сегодня ДР Кати. 18 лет. Надеюсь, ты как обычно не забыл из-за своих трупов. Мы ждем к 17:00. Анатолий уже заказал стол. Не опаздывай. И ради бога, приведи себя в порядок, у тебя бровь рассечена, я видела фото в сводке».

Ни смайликов. Ни восклицательных знаков, кроме одно-

го, строго по ГОСТу. Ирина была женщиной-протоколом. Когда они были женаты, Волков иногда шутил, что она спит в позе «смирно», а оргазм фиксирует актом приёма-передачи. Она не обижалась. Просто констатировала, что его юмор — защитная реакция незрелой психики. Они развелись тихо, без битья посуды. Просто однажды поняли, что живут в параллельных вселенных: он — в мире трупов, она — в мире света и расписаний.

А потом появился Анатолий. Прокурор района. Человек-вертикаль. Волков знал Анатолий еще до того, как он появился в жизни Ирина. Вот такое интересное совпадение. А может Ирина, сама того не осознавая, просто любит тех, кто связан с законом.

Волков вытер руки ветошью. Посмотрел на разобранные часы. Собрать их он не успеет. Но собрать себя — должен.

По дороге он заехал не в ювелирный и не в бутик. Он свернул в проулок за Арбатом, где не было камер, и зашёл в антикварную лавку с вывеской, буквы на которой давно выцвели. За прилавком сидел Лёва — человек без фамилии, с лицом, которое невозможно запомнить, и связями, которые начинались в мэрии и заканчивались там, куда полиция ходит только с ордером и группой захвата.

— Макара, — Лёва улыбнулся, обнажив золотой зуб. — Ты выглядишь так, будто проверял чужие челюсти на прочность.

— Проверял, Лёв. Не прошли сертификацию. Мне нужна

вещь. Для девочки. Восемнадцать лет. Умная. Любит, чтобы всё работало, а не просто блестело.

Лёва кивнул, достал из-под прилавка деревянную шкатулку. Внутри, на синем бархате, лежал карманный компас в серебряном корпусе начала двадцатого века. Крышка открывалась бесшумно. Стрелка вздрагивала, мгновенно находя север.

— Швейцария. Работает идеально. Компас не врёт, в отличие от людей, — сказал Лёва. — От моего друга из порта. Передавал привет, кстати. Сказал, если тебе понадобится «поговорить» с теми ребятами с Южной промзоны, ты знаешь, кому звонить. Должок за ними висит.

— Передавай спасибо. Пока не нужно. Но держи номер наготове, — Волков положил на прилавок несколько купюр, даже не пересчитывая. Лёва не обсчитывал. В их мире репутация стоила дороже денег.

Он вышел, пряча шкатулку во внутренний карман пиджака. Мир Волкова был сложен из кусочков, как мозаика: участки, мафия, правительство, бары, антиквариат. Он умел ходить по границам, не падая ни в одну из пропасть. Потому что знал правила каждой игры.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.